

Взгляд на 'Путешествия Гулливера'. Джордж Оруэлл

В "Путешествиях Гулливера" Свифт ополчается против рода человеческого, точнее, подвергает его критике по меньшей мере с трех сторон, и неизбежно по ходу дела меняется облик главного персонажа, Гулливера. В Первой части он предстает типичным путешественником восемнадцатого века - отважным, самоуверенным, практичным, без всякого романтического ореола; обыденность этой фигуры искусно донесена до читателя при помощи биографических подробностей, которыми он предваряет повествование, указания на возраст (к началу своих приключений он - сорокалетний отец двух детей) и точной описи предметов, находившихся в его карманах, среди них особо выделены очки, он несколько раз их упоминает. Во Второй части облик этот в значительной мере сохранен, но в нужные моменты герой начинает обнаруживать признаки идиотической глупости: хвастливо восславляя "...наше благородное отечество, владыку искусств и оружия, бич Франции" и т.д. и т.п. ("Путешествия Гулливера", с. 207. Далее цитаты по изданию: Свифт Дж. Путешествия Гулливера. Пер. под ред. А. Франковского. М.: Гос. изд. худож. лит., 1947.), одновременно он предательски выбалтывает все ведомые ему скандальные факты о своей будто бы горячо любимой Англии. В Третьей части он вроде бы тот же, что и в Первой, хотя, общаясь с придворными и учеными, он внушает представление, что социальный статус его несколько повысился. В Четвертой выясняется, что он питает отвращение к роду человеческому, хотя ранее это не ощущалось или ощущалось только моментами; теперь он оказывается каким-то неверующим отшельником с одним только желанием: поселиться в безлюдной местности и размышлять в уединении о добродетелях гуингнмов. Впрочем, это вынужденная непоследовательность автора - Гулливер требуется Свифту лишь для создания контрастных ситуаций. Он должен выглядеть здравомыслящим в Первой части и хотя бы иногда казаться глупцом во Второй, потому что в обеих книгах автор предпринимает, по сути, один и тот же маневр: ему надо показать человеческое существо в смехотворном виде, представив его человеком в шесть дюймов. Но во всех случаях, когда Гулливер не выставлен на посмешище, характер его сохраняет известную целостность, особенно в таких своих свойствах, как находчивость и наблюдательность ко всему материальному, что его окружает. В общем он остается одним и тем же человеком, изображенным в той же стилистической манере, и когда уводит военный флот Блефуску, и когда вспарывает брюхо чудовищной крысы, и когда плывет в открытом океане в утлой ладье, сшитой из шкур йэху. Да и как не понять, что в моменты наибольшего прозрения Гулливер - не кто иной, как сам Свифт; можно привести по меньшей мере один эпизод, в котором Свифт явно дает волю личной обиде на современное общество. Мы помним, что, когда вспыхнул пожар во дворце короля Лилипутии, Гулливер погасил его струей своей мочи. Вместо того чтобы поздравить его с такой находчивостью, Гулливеру сообщают, что он совершил тягчайшее преступление, помочившись на королевский дворец...

"...Меня конфиденциально уведомили, что императрица была страшно возмущена моим поступком и переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не реставрировать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне".

По мнению профессора Дж. М. Тревельяна ("Англия при королеве Анне"), карьере Свифта отчасти помешало то обстоятельство, что королева была шокирована "Сказкой бочки", памфлетом, который - так, очевидно, казалось Свифту - сослужил большую службу английской короне: ведь, обрушиваясь на диссентеров, а еще с большей силой на католиков, автор оставил в покое государственную церковь. Так или иначе, никто не станет отрицать, что "Путешествия Гулливера" - книга не только пессимистическая, но и мстительная, в которой, особенно в Первой и Третьей

частях, Свифт часто опускается до узких политических пристрастий. В ней смешалось все: мелочность и великодушие, республиканизм и дух авторитарности, почтение к разуму и агностицизм. Столь присущее, как известно, Свифту свирепое отвращение к человеческой плоти становится господствующей чертой лишь в Четвертой части, но эта его одержимость почему-то не удивляет. Чувствуешь, что все эти перемены, все эти перепады настроения терзали одну и ту же личность, а связь между политическими взглядами Свифта и его неизменным отчаянием - одна из самых интересных особенностей этой книги.

В политическом плане Свифт принадлежал к числу тех людей, которых безрассудства современной им прогрессивной партии вигов загоняли в извращенный торизм. Первая часть "Путешествий" при беглом чтении - сатира, высмеивающая претензии человека на величие, если всмотреться внимательнее, может быть воспринята как выступление против Англии, против господствующей партии вигов и против войны с Францией - войны, которая, как бы ни были низки мотивы союзников, все же спасла Европу от тиранического произвола одной-единственной реакционной державы. Свифт не был якобитом, не был он, строго говоря, и тори, призывал он в этой войне всего лишь к заключению умеренного мирного договора, а не к поражению Англии. И все же в финале Первой части чувствуется некий привкус "квис-лингизма", что слегка нарушает ее аллегорический замысел. Когда Гулливер бежит из Лилипутии (Англии) в Блефуску (Францию), авторская посылка, что человек ростом в шесть дюймов должен вызывать презрение, каким-то образом исчезает. Если жители Лилипутии вели себя по отношению к Гулливеру самым предательским и гнусным образом, то в Блефуску его встречают искренно и радушно, да и весь финал этой части повествования звучит отлично от предшествующих глав. Совершенно ясно, что враждебность Свифта обращена прежде всего на Англию. Именно "ваших туземцев" (то есть соотечественников Гулливера) король Бробдингнега именуется "выводком маленьких отвратительных пресмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности". А длинный пассаж в самом конце, обличающий колониализм и захват территорий, явно относится к Англии, хотя рассказчик самым тщательным образом пытается утверждать противоположное. С немалым ожесточением нападает Свифт в Третьей части и на союзника Англии - Голландию, которая ранее послужила мишенью для одного из самых знаменитых его памфлетов. Нечто весьма личное звучит и в пассаже, в котором Гулливер высказывает свое удовлетворение тем, что иные из открытых им стран не могут быть превращены в колонии Британской Короны.

"Правда, гуигнгны как будто не так хорошо подготовлены к войне, искусству, которое совершенно для них чуждо, особенно что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако будь я министром, я никогда бы не посоветовал нападать на них. ...Представьте себе двадцать тысяч гуигнгнов, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы и превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт..."

Так как Свифт слов на ветер не бросает, выражение "превращающих в котлету...", надо думать, приоткрывает тайное желание увидеть подвергнутые подобной участи непобедимые войска герцога Мальборо. Есть и другие примеры того же рода. Даже упомянутая в Третьей части страна, где "...большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов", именуется у него Лангден, это - за исключением одной буквы - анаграмма Англии (Langdon England). (А поскольку в ранних изданиях есть опечатки, возможно, это было задумано как полная анаграмма.) Что говорить, вполне реально физическое отвращение Свифта к роду

человеческому, однако возникает чувство, что все эти обличительные нападки на идею величия человека, все эти диатрибы, обращенные против лордов, политиканов, придворных фаворитов и прочих, носят преимущественно локальный характер и объясняются его принадлежностью к партии, потерпевшей поражение. Гневно выступая против несправедливости и гнета, он, однако, не дает никаких оснований считать, что сочувствует демократии. При всем неизмеримом превосходстве силы и влияния Свифта, позиция его была очень близка той, что занимают в наши дни бесчисленные "умненькие" консерваторы, такие, как сэр Алан Герберт, профессор Дж. М. Янг, лорд Элтон; члены Консервативного Комитета по реформам и целая когорта защитников католицизма, от У. Г. Мэллока и дальше; все они специализируются на острословии по поводу любых "современных" и "прогрессивных" тенденций и часто высказываются в самом крайнем духе, зная, что на реальный ход событий это повлиять не может. В конце концов можно сказать, что памфлет "Рассуждение об отмене христианства..." весьма напоминает нам манеру "Робкого Тимоти" отпускать веселые шуточки по адресу Мозгового Треста либо отца Рональда Нокса, который вскрывает ошибки Бертрана Рассела. И самый факт, что Свифту так легко прощали - прощали даже самые благочестивые верующие - кощунственные выходки в его "Сказке бочки", убедительно демонстрирует слабосилие религиозных чувств по сравнению с политическими.

Однако же реакционный склад мышления Свифта проявляется главным образом вне его политических пристрастий. Важную роль играет его отношение к Науке или, в более широком плане, к интеллектуальной пытливости. Знаменитое описание Академии в Лагадо, в Третьей части "Путешествий", было сатирой, и несомненно оправданной, на деятельность большинства так называемых "ученых" его времени. Характерно, что людей, в этой Академии работающих, Свифт именуется "прожектерами", подчеркивая этим, что заняты они не бескорыстными научными исследованиями, а изобретением разного рода устройств, которые должны подменять человеческий труд и приносить небывалые доходы. Но при этом нет никаких оснований полагать - и через всю книгу проходят указания на противоположный вывод, - что и "чистая наука" нашла бы в Свифте своего приверженца. Он уже успел дать хорошего пинка в зад ученым более серьезного толка, когда изложил во Второй части мнения светил науки, призванных королем Бробдингнега, чтобы разъяснить природу миниатюрности Гулливера:

"После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как рельплум сколькатс, что в буквальном переводе означает *Lusus Natural* (игра природы), - определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на скрытые причины, при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания".

Сама по себе эта цитата могла бы свидетельствовать лишь о том, что Свифт всего лишь враг лженауки. Однако в целом ряде эпизодов он не жалеет сил, чтобы доказать бесполезность любых научных исследований либо спекуляций, если только они не преследуют практическую цель:

"Знания этого народа (бробдингнегов) очень недостаточны: они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать справедливость, им достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и всякого рода механизмов, так что у нас она получила бы невысокую оценку. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталей мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления".

Страна гуигнгнмов - идеальная для Свифта существ - отсталое общество даже на уровне простейшей механизации. Они не знают металлов, никогда не слышали о лодках, фактически не занимаются и земледелием (нам сообщено, что овес, которым они кормятся, растет "естественно") и, по всей видимости, не изобрели колеса. (Гуигнгнмов, которые по старости не могут двигаться сами, возят на чем-то "вроде саней" - значит, не на колесах.) У них нет алфавита, им, очевидно, не присуща сколько-нибудь развитая любознательность по отношению к материальному миру. Они не могут поверить, что в мире есть еще какие-либо страны, кроме их собственной, и хотя знакомы с движением луны и солнца и понимают природу затмений - "... это предельное достижение их астрономии". По контрасту, философы летающего острова Лапуты так глубоко погружены в математические размышления, что, дабы привлечь их внимание, надо хлопнуть их по уху надутым пузырем. Они каталогизировали десять тысяч неподвижных звезд, определили периоды движения девяноста трех комет и, опередив астрономов Европы, открыли, что у Марса - две луны; все эти сведения Свифт явно считает чем-то совершенно ненужным, смехотворным и не представляющим интереса. Как можно было ожидать, он видит место ученого - если тот вообще занимает какое-то место в жизни - лишь в лаборатории и считает, что научные познания не имеют ни малейшей связи с политическими вопросами:

"Но более всего меня поразила, и я никак не мог объяснить ее, замеченная мной у них сильная склонность говорить на политические темы, делиться новостями и постоянно обсуждать государственные дела, внося в эти обсуждения необыкновенную страстность. Впрочем, ту же склонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой; разве только, основываясь на том, что маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем какое необходимо для управления и поворачивания глобуса".

Нет ли чего-то знакомого во фразе "...никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой"? Звучит она вполне в духе высказываний популярных апологетов католицизма, которых как будто бы удивляет, если ученый выражает свое мнение по таким вопросам, как существование бога или бессмертие души. Ученый, говорят нам, является специалистом лишь в определенной, ограниченной области знания, с какой же стати мнения его могут представлять ценность в любой другой сфере? Под этим подразумевается, что теология - такая же точная наука, как, скажем, химия, и священник является таким же специалистом, мнения которого должны почитаться бесспорными. Свифт фактически требует того же для политического деятеля, но при этом идет еще дальше: не соглашается признать ученого - как работающего в сфере "чистой науки", так и занимающегося конкретными исследованиями - личностью, приносящей пользу и в своей области. Даже если бы он не написал Третью часть "Путешествий", книга его в целом дает повод считать, что, как Толстой и Блейк, он с ненавистью относится к самой идее познания природы. "Разум" гуигнгнмов, которым он так восторгается, в основе своей не означает способности извлекать логические выводы из наблюдаемых фактов. Хотя об этом и не говорится прямо, из контекста следует, что под ним подразумевается либо здравый смысл - то есть приятие очевидных явлений и презрение к разного рода софизмам и абстракциям, либо свобода от страстей и предубеждений. В общем мнение его сводится к тому, что все необходимое мы уже знаем сами и просто не умеем правильно использовать это знание. Так, например, медицина - наука бесплодная, ибо, придерживаясь более естественного образа жизни, мы бы не страдали разными болезнями. Но при всем том Свифт - вовсе не приверженец "простой жизни" и совсем не склонен восхищаться Благородным Дикарем.

Он - приверженец цивилизации и всех ее достижений. Он ценит хорошие манеры, умение вести беседу, даже знание литературы и истории, он понимает также необходимость и практическую выгоду изучения сельскохозяйственных наук, архитектуры и навигации. Однако конечная цель его - статическая, лишенная интеллектуальной пытливости цивилизация, точно такой мир, в каком он живет, только немножко почище и поразумнее, без каких-либо радикальных перемен, без дерзких вылазок в неведомое. Он чтит далекое прошлое, в особенности век античности, более, чем можно было бы ожидать от человека, столь свободного от распространенных заблуждений, и полагает, что современный человек за последние столетия резко деградировал (Физическая деградация населения, которую, как утверждает Свифт, он наблюдал повсюду, могла быть в то время реальным фактом. Одной из причин ее он считает сифилис, который был тогда в Европе новым явлением и, возможно, носил более жестокие и опасные формы, чем теперь. Новинкой были также в семнадцатом веке спиртные напитки, и это обстоятельство могло вызвать резкое усиление пьянства. (Прим. автора.)). Очутившись на острове чародеев и волшебников, где можно было по желанию вызвать духов умерших, Гулливер просит: "...вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй - сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов". Хотя Свифт в этом разделе Третьей части подверг разрушительной критике правдивость исторических представлений, дух критицизма покидает его, как только он обращается к древним грекам и римлянам. Разумеется, он не приемлет коррупцию имперского Рима, но к некоторым крупным фигурам древнего мира он питает почти безрассудный восторг:

"При виде Брута я проникся глубоким благоговением; в каждой черте этого благородного лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель величайшее бесстрашие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям... Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он, между прочим, сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон Младший, сэр Томас Мур и он сам всегда находятся вместе: секстумвират, к которому вся история человечества не может добавить седьмого члена".

Следует отметить, что из шести человек только один - христианин. Это очень важно. Соединив в одно общее свифтовский пессимизм, его благоговейное отношение к прошлому, отсутствие любознательности, отвращение к человеческому телу, мы, таким образом, обнаружим мировоззрение, характерное для религиозных реакционеров, то есть людей, которые защищают несправедливый общественный строй, утверждая, что в этом мире существенные улучшения невозможны, а главным остается "мир иной". Однако же Свифт не проявляет никаких признаков религиозности, во всяком случае в обычном толковании этого понятия. Похоже, что он не очень-то верует в жизнь после смерти, а представления о благе связаны у него с идеями республиканизма, любовью к свободе, храбростью, доброжелательностью (под которой он понимает дух патриотизма), "разумом" и прочими языческими добродетелями. Все это наводит на мысль, что в облике Свифта есть и нечто не вполне совместимое с его неверием в прогресс и ненавистью к роду человеческому. Начать с того, что в какие-то моменты он бывает "конструктивным" и даже "передовым". Эпизодическая непоследовательность утопии несколько оживляет, а Свифт порой вставляет словечко одобрения в пассаж, сатирический по замыслу. Скажем, мысли свои относительно обучения молодежи он приписывает обитателям Лилипутии, которые выражают по этому поводу мнения, почти совпадающие с правилами гуигнгнмов. Более того - у лилипутян существует целый ряд общественных и правовых институтов (например, пенсии по старости, а также поощрения тем, кто исполняет закон, и наказания для тех, кто его нарушает), которые он хотел бы видеть в собственной стране. В

середине этого пассажа Свифт вспоминает о своем сатирическом замысле: "Описывая как эти, так и другие законы империи... - добавляет он, - я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современной испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения". Но поскольку предполагается, что Лилипутия призвана изображать Англию, а в Англии нет ничего похожего на установления, о которых идет речь, совершенно ясно, что Свифт поддался импульсу выступить с конструктивными предложениями. Величайшим его вкладом в политическую мысль - в узком смысле этого понятия - надо считать гневный сарказм, который он обрушивает, особенно в Третьей части, на тоталитарное, выражаясь по-современному, общество. С необыкновенной провидческой ясностью видит он кишашее шпионами "полицейское государство" с его бесконечной охотой на еретиков и судами над "изменниками родины", рассчитанными на то, чтобы нейтрализовать народное недовольство, обращая его в военную истерию. При этом стоит вспомнить, что Свифту удалось развернуть картину целого по незначительным деталям, так как маломощные правительства в его эпоху не давали возможности полностью подтвердить то, что было создано его воображением. Так, например, один из профессоров "школы политических прожектеров" показал Гулливеру обширную рукопись "инструкций для открытия противоправительственных заговоров" и заявил, что можно распознавать самые тайные помыслы людей, исследуя их экскременты, "...ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточены, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его был совсем другой, когда он думал только о поднятии восстания или о поджоге столицы".

Этот профессор и его теория были подсказаны Свифту, полагают литературоведы, одним - не столь уж удивительным или отвратительным на наш взгляд - фактом: в одном из государственных судебных процессов того времени были использованы в качестве улики письма, найденные в чьем-то нужнике. А несколько ниже, в той же самой главе мы словно попадаем в самый разгар русских политических процессов 1930 годов:

"В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден... большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных...

...Прежде всего они соглашались и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в составлении заговора; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв. ...Если этот метод оказывается недостаточным, они руководствуются двумя другими, более действенными, известными между учеными под именем акростихов и анаграмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы согласно их политическому смыслу. Так N будет означать заговор; B - кавалерийский полк; L - флот на море. Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно прочесть самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: "Наш брат Том нажил геморрой", искусный дешифровальщик из этих самых букв прочесть фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод".

Другие профессора этой же школы изобретают упрощенные языки, сочиняют книги с помощью специальных станков, обучают студентов, заставляя их глотать облатки, на которых записан текст урока, предлагают устранять различия в мыслях, производя обмен мозгами посредством отпиливания части затылка... Есть нечто странно знакомое в самой атмосфере этих глав: через все это изобретательное дурачество проходит мысль, что тоталитаризм стремится не только заставить людей думать надлежащим образом, но и притупить их сознание. Да и свифтовское описание вождя, царящего над племенем йэху, и "фаворита", который сначала исполняет грязную работу, чтобы затем стать козлом отпущения, на редкость хорошо вписывается в наше собственное время. Однако следует ли из всего этого, что Свифт был прежде всего и главным образом врагом тирании и борцом за свободу мысли? Нет, собственные убеждения его, насколько можно определить, далеко не столь либеральны. Сомнений не возникает: он действительно ненавидит лордов, королей, епископов, генералов, светских дам, титулы, знаки отличия и прочую дребедень, но нигде не видно, что о простых людях он более высокого мнения, чем об их правителях, что он стоит за большее социальное равноправие либо увлекается идеями репрезентативных общественных институтов. Общество гуигнгнмов организовано по определенной кастовой системе, в основе которой - расовое начало; слуги, выполняющие самую тяжелую работу, отличаются по цвету от своих хозяев и не скрещиваются с ними. Система образования, которой восхищается Свифт у лилипутян, подразумевает как нечто совершенно естественное наследственные классовые различия, и дети из беднейших классов вообще не посещают школы, поскольку "...они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особого значения для общества". Не скажешь, что он активно выступал за свободу слова и печати, несмотря на то, что к собственным его писаниям проявлялось очень терпимое отношение. Короля бробдингнегов поражает многочисленность и многообразие религиозных сект и политических группировок в Англии, и он находит, что "...тот, кто исповедует мнения, пагубные для общества" (в этом контексте попросту еретические), обязан если не изменить их, то во всяком случае держать при себе, ибо: "Если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости". Есть и более тонкое указание на суть собственных взглядов Свифта: мы обнаруживаем его в рассказе о том, каким образом Гулливер был вынужден покинуть страну гуигнгнмов. Свифт нередко предстает перед нами своего рода анархистом, а в Четвертой части создана картина анархического общества, управляемого не Законом в общепринятом смысле слова, а "Разумом", диктат которого, видимо, ни у кого не вызывает возражений. Генеральная ассамблея гуигнгнмов "увещевает" хозяина Гулливера изгнать его из страны, и соседи оказывают на него давление, вынуждая в конце концов дать свое согласие. Они выдвигают две причины: во-первых, присутствие необычного йэху может породить беспорядок в среде этих существ, во-вторых - дружественное отношение гуигнгнма к йэху "...противно разуму и природе и является вещью, никогда прежде не слыханной у них". Хозяину Гулливера не очень-то хочется подчиниться, но с "увещеванием" (нам сообщают, что гуигнгнму никогда не отдают приказов, его только "увещивают" или "убеждают") необходимо считаться. Эта ситуация очень наглядно обнаруживает тенденцию к тоталитаризму, заключенную в анархистской или пацифистской концепции общества. В обществе, где нет закона и теоретически - принуждения, общественное мнение является единственным арбитром, определяющим нормы поведения отдельной личности. Но это общественное мнение, в силу огромной тяги стадных животных к единообразию, отличается еще меньшей терпимостью, чем любая система, основанная на законах. Когда человеческое сообщество управляется определенными "заповедями", которые нельзя "преступить", тот или иной индивид имеет возможность проявлять некоторую эксцентричность в своем поведении. Но когда это сообщество управляется теоретически - лишь "любовью" или "разумом", личность

испытывает постоянное давление, вынуждающее ее и думать и поступать как все, без всяких отклонений. Нам сообщают, что гуингнмы почти не ведали разногласий ни по одному вопросу. Единственным вопросом, который они когда-либо подвергли обсуждению, была дальнейшая участь племени йэху. Во всех других случаях никаких поводов для споров не возникало: либо истина была самоочевидна, либо непознаваема и потому не имела значения. В их языке, видимо, вообще не было слова "мнение", а в разговорах не проявлялось различий в "чувствах". Фактически они достигли высшей стадии тоталитарной организации общества, стадии, при которой конформизм стал настолько всеобъемлющим, что отпала всякая надобность в полиции. Такое положение дел Свифт явно одобряет, поскольку среди многих его дарований и качеств не нашлось места для любознательности и добродушия. Инакомыслие всегда представляется ему просто извращенностью ума. "Для них разум, - говорит он, - не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами за и против; нет, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом". Другими словами, нам уже все обо всем известно, к чему же нам допускать высказывания противоречащих мнений? Такая установка, естественно, приводит к тоталитарному обществу гуингнмов, где нет ни свободы, ни развития.

Мы справедливо видим в Свифте мятежника и борца против предрассудков, но, не считая второстепенных моментов, - как, например, его убежденность, что женщинам следует получать то же образование, что и мужчинам, - во всем остальном он не дает оснований причислить себя к "левым". Свифт консервативный анархист, который, презирая власть, не верит в свободу и не расстается с аристократическим взглядом на общество, отлично понимая, что современная ему выродившаяся аристократия достойна лишь презрения. Когда он произносит очередную свою диатрибу против богачей и власть имущих, следует, как я уже сказал, часть его пыла отнести на счет того обстоятельства, что сам он принадлежал к менее удачливой партии и испытал разочарования в личной жизни. По вполне ясным причинам, "аутсайдеры" всегда оказываются радикальнее "своих" (В финале "Путешествий" в качестве типичных образчиков глупости и порочности человека Свифт называет "...судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможу, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных". Здесь звучит не знающая удержу ярость человека, лишённого власти. В одну кучу свалены и разрушители, и охранители порядка и права. Если, скажем, надо осудить полковника за то, что он - полковник, то на каких основаниях можно судить предателя? Стремясь покончить с воровством, надо опираться на законы, а следовательно, надо иметь юристов? Но весь этот финальный пассаж, столь сильно пропитанный ненавистью и столь слабо аргументированный, как-то не убеждает читателя. Чувствуется, здесь дана воля личному озлоблению. (Прим. автора.)). Но самое существенное у Свифта - его неспособность поверить в то, что можно сделать более достойной нашу бренную жизнь, а не какую-то лишённую плоти рационалистическую схему быта. Разумеется, ни один честный человек не скажет, что сейчас счастье может быть названо нормальным явлением среди взрослых людей, но, быть может, оно когда-нибудь станет таковым, - именно на этом вопросе и зиждется вся серьезная политическая полемика. У Свифта есть много общего - мне кажется, больше, чем было до сих пор замечено, - с Толстым, еще одним мыслителем, не верящим в возможность земного счастья. Обоим был присущ анархический взгляд на общество, за которым скрывался авторитарный склад ума, оба враждебно относились к науке и нетерпимо - к попыткам оспорить их мнения, оба не способны были придавать значение чему-либо, их лично не интересующему; наконец, и у того и у другого был какой-то ужас перед реальным течением жизни, хотя Толстой пришел к этому позже и по другим причинам. Обоим мучили вопросы

пола, но также по разным причинам, общим было лишь искреннее отвращение к сексу, с изрядной примесью болезненного влечения к нему. Толстой был раскаявшимся распутником, который проповедовал воздержание, но до глубокой старости не следовал собственной проповеди. Свифт, по всей вероятности, был импотентом и всегда испытывал какое-то гиперболическое омерзение к человеческим нечистотам, а думал на эту тему непрестанно, о чем свидетельствуют его произведения. Люди такого типа вряд ли способны оценить даже ту мизерную долю счастья, что достается большинству человеческих существ, и - по вполне понятным мотивам - не склонны считать возможными и значительные улучшения в жизни земной. И нелюбопытство их, и нетерпимость - из одного и того же источника.

Омерзение, злость, пессимизм Свифта были бы понятны, взирай он на нашу жизнь как на переходную ступень к "миру иному". Но поскольку ни во что подобное он, очевидно, не верит, возникает необходимость сконструировать некий рай на земной поверхности, ничего общего не имеющий с ведомой нам реальностью. В нем нет места всему, что не нравится Свифту: лжи, глупости, изменам, восторженным чувствам, удовольствиям, любви и грязи. В качестве идеального существа он избирает лошадь - животное, экскременты которого наименее противны. Гуигнгнмы очень скучная скотинка - факт настолько общепризнанный, что нет надобности его чем-либо обосновывать. Гений Свифта придал им правдоподобность, но вряд ли найдется много читателей, способных испытывать к ним что-либо, кроме неприязни. И вызвано это чувство совсем не уязвленным самолюбием человека, которому предпочли лошадь; ведь гуигнгнмы гораздо больше напоминают людей, чем йэху, и есть некая абсурдная нелогичность в том, что Гулливер, испытывая ужас перед йэху, в то же время видит в них существа одной с ним породы. Ужас этот охватывает его при первом же взгляде на йэху: "...я никогда еще, во все мои путешествия, не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывало к себе такое отвращение". Отвращение но по сравнению с кем? Во всяком случае, не с гуигнгнмом, потому что ни одного гуигнгнма он пока еще не встретил. Значит - по сравнению с самим собой, то есть с человеком. Однако в дальнейшем нам сообщается, что йэху - это и есть человек, и человеческое общество делается невыносимым для Гулливера именно потому, что все люди - это йэху. Но в таком случае почему он еще раньше не возымел отвращения к роду человеческому? И вот в попытке свести концы с концами Свифт говорит, что йэху самым фантастическим образом отличаются от людей, являясь в то же время людьми. Свифт явно захлебывается в собственной ненависти, когда кричит своим соплеменникам: "Вы еще грязнее, чем кажетесь!" Но, конечно, испытывать симпатию к йэху нельзя, и непривлекательность гуигнгнмов объясняется вовсе не тем, что они господствуют над йэху. Непривлекательны они тем, что "Разум", который правит их жизнью, оказывается, по сути, тяготением к смерти. Не ведают они любви и дружбы, любознательности, страха, печали, не ведают гнева и ненависти - если не считать их отношения к йэху, которые в этом обществе занимают примерно то же место, что евреи в нацистской Германии. "Они не балуют своих жеребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются исключительно разумом". "Дружба и доброжелательство являются двумя главными добродетелями гуигнгнмов, и они не ограничиваются отдельными особями, но простираются на всю расу". Ценят они также беседы, но в беседах этих никогда не высказываются несходные мнения: "...говорилось только о деле, и речи выражались в очень немногих, но полновесных словах". У них строгий контроль над рождаемостью: каждая пара, произведя на свет двух отпрысков, прекращает половые отношения. Браки между молодыми устраивают старшие по евгеническим принципам, и в языке их нет слов, обозначающих плотскую любовь. Когда кто-нибудь умирает, родные продолжают обычную жизнь, не испытывая ни малейшей скорби. Все это, вместе взятое, свидетельствует, что стремятся они как можно больше уподобиться трупам,

сохраняя при этом физическое существование. Правда, кое-какие черты, им присущие, не укладываются в рамки "разумности" - в их понимании этого слова. Например, они придают особое значение не только физической выносливости, но и атлетике, к тому же любят поэзию. Но эти исключения, быть может, не столь непоследовательны, как кажется. Вероятно, Свифт подчеркивает атлетические свойства гуигнгнмов, дабы убедить читателей, что никогда благородные лошади не будут побеждены презренным родом человеческим; а склонность к поэзии присуща им потому, что поэзия представляется Свифту антитезой науки, самого бесполезного, на его взгляд, занятия на свете.

В части Третьей он называет "воображение, фантазию и изобретательность" тремя желательными качествами, которыми не обладают лапутянские математики (несмотря на свою любовь к музыке). Следует предположить, что, хотя Свифт великолепно владел жанром комической поэзии, вероятнее всего наибольшее значение он придавал поэзии дидактической. О стихотворстве гуигнгнмов он говорит так: "...в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изобилуют теми и другими фигурами, и темой их являются либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо восхваление победителей на бегах или других телесных упражнениях".

Увы, даже гениальный дар Свифта не помог ему создать образчик творения, по которому можно было бы судить о поэтическом искусстве гуигнгнмов. Но можно представить себе, что это было нечто весьма напыщенное и холодное (по всей вероятности, рифмованные двустишия в размере пятистопного ямба) и в общем не противоречащее принципам "Разума".

Как известно, состояние счастья с большим трудом поддается изображению, и потому картины справедливого, упорядоченного общества редко кажутся привлекательными или убедительными. И все же большинство создателей "положительных" утопий стараются показать, какой может стать наша жизнь, если мы сумеем пользоваться ею более полно. А Свифт проповедует попросту отказ от полноты жизни, обосновывая это требование тем, что "Разум" означает подавление естественных инстинктов. Поколение за поколением гуигнгнмы, эти лишённые своей истории существа, ведут осмотрительный и расчетливый образ жизни, поддерживая один и тот же объем населения, не ведая страстей, не зная болезней, с полным безразличием встречая смерть, воспитывая в таком же духе свою молодежь, - и во имя чего? Во имя того, чтобы процесс этот продолжался до бесконечности. У них начисто отсутствуют представления о ценности нашего сегодняшнего бытия на этой земле, либо о том, что можно изменить жизнь и придать ей большую ценность, либо - что надо пожертвовать жизнью ради грядущего блага. Свифт органически не мог сотворить иную утопию, чем унылый мир гуигнгнмов, раз он не верил в загробную жизнь и не был способен извлекать удовольствие из нормальных человеческих отношений определенного рода. Однако унылый этот мир сочинен автором не потому, что кажется ему столь уж привлекательным сам по себе, - он должен служить оправданием для новых выпадов против рода человеческого. Конечная цель Свифта, как всегда, - унижение человека, для чего следует еще раз напомнить, что человек слаб, жалок и нелеп, а главное - вонюч; а подспудный мотив, надо полагать, какая-то зависть, зависть призрака к живущему, зависть человека, знающего, что счастье ему недоступно, к другим, тем, кто может быть, как он боится, чуть счастливее его. В политическом плане подобное мироощущение выражается либо в реакционности, либо в нигилизме, поскольку такая личность стремится помешать обществу развиваться, что могло бы раскрыть несостоятельность ее пессимизма. Помешать можно двумя способами: взорвать все к черту или стараться отвращать от

социальных перемен. В конечном итоге Свифт избрал первый путь: он взорвал свой мир к черту, погрузившись в безумие, но при этом - что я и пытался доказать - политические цели его носили в целом реакционный характер.

Все сказанное может создать впечатление, что я против Свифта и цель моя опровергнуть или даже принизить этого писателя. Да, в политическом и моральном аспектах я против того, за что он ратует, насколько позиция его доступна моему пониманию. Но, как ни удивительно, он принадлежит к числу писателей, вызывающих мое безграничное восхищение, а "Путешествия Гулливера" - книга, которой я просто не могу начитаться досыта. Впервые я прочел ее в восемь лет, точнее, за день до своего восьмилетия, потому что я стащил и тайком проглотил приготовленное к моему дню рождения издание "Путешествий", и с тех пор перечитывал их не менее шести раз. Очарование их неувядаемо. Если бы мне пришлось составить список из шести книг, которые надо спасти от гибели, "Путешествия Гулливера" несомненно оказались бы в этом списке. И потому возникает вопрос: как соотносится наша оценка взглядов писателя с наслаждением, которое доставляет нам его творчество?

Человек, способный проявить интеллектуальную беспристрастность, в состоянии распознать достоинства писателя, с которым глубоко расходится во взглядах, однако наслаждение его творчеством - совсем иное дело. Предположим, что существует такое явление, как искусство хорошее и плохое, - в таком случае и то и другое качества должны быть заложены в самом произведении искусства, конечно, не в отрыве от воспринимающей личности, но независимо от ее расположения духа. Так что с этой точки зрения стихотворение не может казаться хорошим в понедельник и плохим во вторник. Но если вы судите эти стихи по тому душевному, эстетическому отклику, который они у вас вызывают, то такое допущение верно, ведь душевный отклик или эстетическое наслаждение - чисто субъективное состояние, которым нельзя управлять. Читатель - даже с самым развитым эстетическим вкусом - далеко не в каждый момент своего бытия проявляет эстетическое чувство, и чувство это очень легко подавляется. Если вы напуганы или голодны, мучаетесь зубами или морской болезнью, то "Король Лир" кажется вам не лучше "Питера Пэна". Умом вы понимаете, что лучше, но пока что для вас это просто факт, запавший в память, и ощутить достоинства "Лира" вы сможете, только вернувшись в нормальное состояние. И столь же разрушительно, нет, еще более разрушительно, потому что причины этого не сразу осознаются, воздействует неприятие вами политической или моральной позиции автора. Если книга вызывает у вас гнев, если она звучит оскорбительно или внушает тревогу, то, каковы бы ни были ее литературные достоинства, удовольствия она вам не доставит. А если она представляется вам по-настоящему вредным произведением, которое может скверно влиять на читателей, не исключено, что вы постараетесь выработать соответствующую эстетическую установку, позволяющую опровергнуть и художественные ее достоинства. Большая часть нашей современной литературной критики сводится к такому непрестанному лавированию между двумя разными критериями. И все же вполне возможен и противоположный результат: читательское удовольствие побеждает внутреннее сопротивление, притом что вы отлично сознаете свою враждебность идеям автора, книга которого вас так увлекает. Отличный пример - Свифт, писатель со столь неприемлемым для большинства людей взглядом на мир и в то же время столь популярный. Как же это получается: мы терпим, когда нас именуют йэху, будучи твердо уверенными, что никакие мы не йэху?

Недостаточно ответить, что Свифт, конечно, заблуждался, он был сумасшедшим, но он был "хорошим писателем". Верно, что в какой-то незначительной мере литературные достоинства произведения отделимы от его содержания. Есть люди, обладающие врожденным даром слова, подобно тому как есть люди "с точным глазом",

который помогает им в играх. Дело здесь заключено главным образом в инстинктивном умении расставлять акценты - в нужный момент и нужной силы. Вот первый пришедший на ум пример: прочтите уже цитированный мною пассаж, начинающийся словами: "В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден..." Особую силу придает ему финальная фраза: "Это и есть анаграмматический метод". Фраза, строго говоря, ненужная, ибо "анаграмматический метод" только что был подробно описан, но именно издевательская торжественность повтора, когда нам словно слышен голос самого Свифта, изрекающего эти слова, вбивает в сознание всю идиотичность происходящего - последний удар молотка, вогнавшего гвоздь по самую шляпку. Однако же ничто, ни мощная простота свифтовской прозы, ни напор его воображения, благодаря которому картины совершенно невероятных миров оказываются убедительнее и правдоподобнее, чем большая часть исторических исследований, не позволило бы нам наслаждаться чтением Свифта, будь его взгляд на мир истинно

отталкивающим и оскорбительным. Миллионы читателей во многих странах увлекались "Путешествиями Гулливера", в большей или меньшей мере ощущая антигуманистический подтекст книги. И даже до ребенка, читающего Первую и Вторую части просто как приключенческую историю, доходит абсурдность шестидюймовых человечков, претендующих на звание людей. Объяснение, очевидно, кроется в том, что взгляд Свифта на мир не воспринимается как полностью ложный или, точнее, не всегда воспринимается как ложный. Свифт - неизлечимо больной писатель. Он постоянно пребывает в депрессии - состоянии, которое большинство людей испытывает лишь периодически; представим себе, что человеку, страдающему разлитием желчи или еще не оправившемуся от тяжелого гриппа, хватает энергии, чтобы писать книги. Всем знакомо это состояние, и какая-то струнка в нас отзывается, когда мы встречаем его в литературном произведении. Возьмем, например, одно из характерных стихотворений Свифта "Туалетная комната дамы" или в том же духе написанное "На отход ко сну прелестной юной нимфы". Что истинной: точка зрения Свифта, выраженная в этих стихах, или видение Блейка, запечатленное в строке "Божественно ее нагое тело"? Блейк, бесспорно, ближе к правде, но кому не доставит удовольствия зрелище развенчанной подделки фальшивой женской утонченности? Свифт искажает реальность в своих картинах мира, потому что отказывается видеть в нем что-либо, кроме грязи, глупости и пороков, но ведь часть, извлекаемая им из целого, действительно существует, и все мы это знаем, однако предпочитая не касаться подобных тем. Частью своего разума, у нормального человека преобладающей, мы верим в то, что человек благородное животное и жить на этой земле стоит, но есть в каждом из нас некое внутреннее "я", и порою оно в ужасе отшатывается от кошмара существования. Радости и отвращение сплетаются воедино непостижимейшим образом. Тело человеческое прекрасно, но оно может быть уродливым и смешным - в чем легко убедиться в любом плавательном бассейне. Половые органы служат предметом вожделения, но и омерзения; ведь недаром почти во всех языках названия их звучат как непристойные ругательства. Мясо необыкновенно вкусно, но в лавке мясника нас тошнит, да и все, чем мы питаемся, в конечном счете - производное от навоза и мертвечины, двух самых отвратительных для нас вещей на свете. Вышедший из младенческого возраста, но еще сохраняющий свежий взгляд на окружающее ребенок постоянно испытывает не только удивление, но и чувство пугливого отвращения: к соплям и плевкам, к собачьему дерьму на тротуаре, к издыхающей жабе, в которой шевелятся черви, к запаху потных тел взрослых, к безобразию стариков с их голыми черепами и шишковатыми носами. Бесконечно толкуя о всевозможных болезнях, грязи и уродствах, Свифт, по существу, не открывает нам ничего нового, он просто говорит не обо всем. Правдиво описывает он также и поведение человека, особенно в сфере политики, хотя и здесь существуют другие, более важные факторы, которых он признавать не желает. По нашему разумению, и ужас и боль необходимы для продолжения жизни на

этой планете, что дает основания пессимистам подобным Свифту задаваться вопросом: "Если ужас и боль неотъемлемы от нашего бытия, как можно надеяться сделать жизнь лучше?" В основе своей это - христианская доктрина минус посулы "мира иного", который, вероятно, меньше владеет душами верующих, чем убежденность, что земная жизнь - юдоль слез, а могила - место упокоения. Я убежден в ошибочности такого взгляда и в том, что он может самым вредным образом влиять на человеческие поступки, но что-то в нас отзывается на него, как отзывается на мрачное звучание зауспокойной службы и сладковатый запах мертвого тела в деревенской церкви.

Зачастую высказывается мнение, - во всяком случае теми, кто придает особую важность содержательности литературы, - что книга не может быть "хорошей", отражая заведомо ложный взгляд на жизнь. Нам внушают, что применительно к современности каждое произведение, обладающее подлинными литературными достоинствами, должно быть более или менее "прогрессивным" по своим тенденциям. При этом упускается из виду, что на протяжении всей человеческой истории бушевали такие же войны между прогрессивными и реакционными силами, а лучшие книги в каждую эпоху всегда выражали самые различные позиции, в том числе - заведомо ложные. В той мере, в какой писатель является пропагандистом, самое большее, что можно требовать от него: пусть он искренне верует в то, что высказывает, и пусть не говорит явных глупостей. В наши дни, например, вполне можно представить себе хорошую книгу, написанную католиком, коммунистом, фашистом, пацифистом, анархистом, быть может, либералом старого толка или обычным консерватором; но нельзя вообразить, что хорошую книгу напишет спирит, бухманит или куклуксклановец. Взгляды писателя должны быть совместимы со здравомыслием - в медицинском смысле этого слова - и с энергией действенной мысли; кроме этого мы ждем от него только таланта, под которым, вероятно, подразумевается убежденность. Свифту не была дана обычная житейская мудрость, но дана была грозная интенсивность видения, способного извлечь, увеличить и тем самым исказить какую-то одну потаенную истину. Долговечность "Путешествий Гулливера" доказывает, что мировоззрение, подкрепленное силой убежденности, даже если оно на грани безумия, способно породить великое произведение искусства.

1946 г.